

БОГОМАТЕРЬ ВСЕХ СПЯЩИХ

Я видел худые и беззащитные ноги, которые торчали из-за занавески и дёргались в каком-то болезненном припадке. Я видел лицо девушки, склонившееся над поражённым болезнью телом, – её подступившие слёзы жалости, бессилия что-либо изменить, хотя бы облегчить беззвучные страдания того, кто был скрыт от меня. Его обхватили, прижали к кушетке, чтобы сбить приступ, переждать. И снова не было слышно ни звука, и от этого становилось не по себе.

И были ещё руки, поворачивавшие лёгкое от жизни тело, – мужские руки её спутника, которые должны были вселить надежду на лучший исход. Я решил, что эти слабые ноги в та-туировках – ноги старика, дошедшего до своего конца, но это оказались ноги подростка, который, очевидно, не просто попал в плохую историю, а жил в ней с самого рождения. А я-то думал, что молодость – это единственное оправдание жизни.

Я наклонился к отцу, провёл рукой по его волосам, подержал за плечо; ожидание не добавляло ему сил. «Сейчас, сейчас, – прошептал я. – Сейчас подойдёт наша очередь». Он сидел в кресле-каталке и тяжело дышал. Мне надо было говорить громче, – он всё равно меня не слышал. «Сейчас, сейчас», – продолжил я про себя.

В приёмной появился врач, но это не к нам, а к подростку-старика. Его вытянули из-за занавески, чтобы произвести над ним какие-то манипуляции, однако лица его я так и не увидел. К врачу присоединился его коллега; консилиум должен был решить, что делать дальше. Они обследовали череп пострадавшего; оказывается, парня нашли на улице, он был без сознания. Я видел только его голые пятки и слышал прерывистое дыхание отца.

Ещё раньше мне надо было выучить молитвы и заклинания, обучиться искусству заговаривать и приговаривать, быть ловким в нашёптывании доходчивых слов. Надо быть готовым тысячекратно повторять некоторые слова, чтобы вдалбливать в них смысл. Я не преуспел в этом нисколько, теперь расплачиваюсь.

Зимой случались такие дни, в которых я растворялся почти без остатка. Я был почти невесом, несмотря на одежду, и легко дышал свежим морозным воздухом. Мои ноги пружинили по утопанному снежку. Я сбивал иней с заледеневших веток деревьев и слышал хрустальный звон. Мне казалось, что я тоже делаюсь белым и начинаю искриться на солнце. А когда не было солнца и стоял сырой промозглый туман, или в пасмурном небе созрел небывалой кристальности и суровости мороз, я становился строже к самому себе и людям.

Всё оказывалось слишком крепким; на промёрзшей земле дыбились неразбиваемые глыбы льда, застывшее небо подпиралось строгими колоннами густого вертикального дыма. Долго выдерживать такое напряжение было невозможно.

Я выходил к троллейбусному кольцу, бывшей конечной остановке. Брошенное здание диспетчерской зияло провалами пустых окон. Это запустение было по погоде; всю неделю обещали морозы под тридцать. Нас предупреждали об осложнениях и испытаниях. Я проходил мимо дверного проёма, целиком свободного от двери, и становился свидетелем последствий ледяного дыхания зимы. Из холодного и опустошённого здания два санитара выносили замёрзшего бомжа. У него был полуоткрытый рот, скрюченные пальцы на руках; на одной, кажется, надета рваная варежка, которая никого и ничего уже не могла спасти. Это был окоченевший труп. Лица я не успел рассмотреть; может быть, я его видел, но ничего не понял, не сообразил, что оно имеет отношение к человеку.

Он искал убежище, а нашёл смерть. Это было днём, мимо ехали автомобили и автобусы, все были заняты своими делами. Смерть по-соседству никого не взволновала. Заросший щетиной бомж в нелепом осеннем пальто в клетку, в драных летних сандалиях на ногах, таких же драных носках, в куцей линялой лыжной шапочке на голове был давно уже выброшен из жизни, а потому его конец стал закономерностью. Своей смертью он никому ничего не доказал, не послужил укором; он только доставил небольшие хлопоты бригаде «скорой помощи» и представителям власти, которые держались поодаль у своей слу-

жебной машины, – один из них снял шапку с кокардой и почесал голову. Эта проблема была совсем некстати.

«Сейчас, сейчас», – продолжил я свои заклинания, и меня услышали. Появился коллега того врача, который уже закончил обследование подростка с татуированными ногами и руками, и назвал знакомую мне фамилию. Я поднял руку в знак признания постигшего нас несчастья и тронул отца за плечо: «Это за нами», а другой врач сказал, проводя по стариковским пяткам подростка шариковой ручкой: «Это наш пациент, мы его забираем». Мне показалось, что он даже обрадовался.

Ещё одна история произошла летом, давно, когда я с приятелем вышел с работы во время обеденного перерыва. Мы хотели зайти, уже не помню, в какой-то магазин и по пути наткнулись на непонятную сцену, в которой всё уже случилось, даже зеваки разошлись и свидетели, а может быть, их и не было вовсе, потому что прошло много времени, и оно всех развело в разные стороны, и оставалась одна пожилая женщина, вернувшаяся с автобусной остановки, и перед ней прямо на тротуаре лежал мёртвый человек. Мы это сразу поняли. И не было почему-то ни милиции, ни полиции, никого вообще больше. Днём, в оживлённом центре лежал на спине парень в светлой рубашке и смотрел мёртвыми глазами в небо. Лицо его ничего не выражало, если только какую-то усталость. Это из-за жары, почему-то подумал я, а женщина указала мне на железный прут, валявшийся неподалёку, которым его убили.

Напротив располагалось открытое летнее кафе, где торговали пивом. Возник внезапно спор: кому-то чего-то не хватило, кто-то не там стоял, где надо, или не стоял вовсе, и произошло случайное убийство. Откуда-то возник железный прут, рука взмахнула сгоряча, и человека не стало. Он упал навзничь, опрокинулся, нельзя же ведь лежать навзничь? Только упасть. Навзничь – это выражение уже звучит как фамилия. Человек по фамилии Навзнич упал. Нет-нет, какие глупости. Бог знает что лезет в голову.

Жизнь вокруг продолжалась, а для него всё закончилось. Но он ведь с чего-то начинал, был ребёнком, как все, смешно бегал босиком по земле или нагретому асфальту, и где это всё теперь? Пропало, исчезло навсегда, словно и не было никакой жизни, не было человека. Убийца тоже когда-то был ребёнком, а теперь он исчез. Всё произошло так стремительно, никто не запомнил его лица. Небо над лицом убитого было настолько бесстрастно, что я не мог не подумать: вот так просто это может случиться? Нелепость равна случайности или наоборот?

«Сейчас, сейчас», – начинаю я суетиться. Помогаю снять пиджак, открыть грудь; будут снимать кардиограмму. Уже заполняют карту, я отвечаю на вопросы. Рядом, другому пациенту, говорятся самые важные слова: «Мы сделаем всё возможное». Белый халат, разведённые в сторону руки, которые только что были сцеплены в надёжный замок. Ко мне поворачиваются спиной. Лица я не успеваю рассмотреть, но не сомневаюсь, что это лицо настоящего профессионала. Это слова утешения и признания возможности провала. На самом деле, он должен был сказать: «Я сделаю всё возможное». И конечно же, развести руками, снимая с себя всякую ответственность. И даже поднять глаза к небу, не поднимая головы, туда, где решается судьба каждого из нас.

«Сейчас, сейчас», – я ищу новые действенные заклинания и никак их не нахожу. Путаюсь, придумываю, цепляюсь.

Откуда взялась эта женщина с голубем? Я переходил улицу и случайно наткнулся на неё, сделав шаг из-за низкорослого кустарника. Она шла по тротуару с голубем, как прогуливаются с собачкой. Голубь шёл с ней рядом, только без поводка, и повторял все её движения. Это, конечно же, случайно так совпало, но я на несколько секунд поверил увиденному, тому, что вот женщина вышла на прогулку со своим домашним питомцем-голубем, и он так уверенно, подобрав крылья, вышагивает на своих раскоряченных лапках. В самом деле, почему бы такому не быть? Почему возможны только собаки да кошки? Разве можно выйти на прогулку с аквариумом подмышкой?

Мне ещё многому предстоит удивляться. Никак не изживу в себе это свойство – весьма непригодное для практической жизни.

Надо быть простым, как ученическая тетрадь. Однако, учиться некогда, надо усвоить понятия, но не правила.

Единственное, чему надо научиться, это разводить руками. Надо освоить этот самый главный жест в жизни. Внешне нехитрый, но очень глубокий по внутреннему содержанию. «Я сделал всё, что мог». Руки разводятся в стороны, словно открываются ворота. «Я сделал всё, что мог». Я во всём признался, отворил все пути, теперь ваша очередь. «Я сделал всё, что мог».

Город засыпается песком, с каждым годом его становится всё больше. Он никуда не исчезает и оседает на улицах, во дворах, проникает через открытые окна в квартиры. Иногда бывает трудно дышать. Случается, что песок скрипит на зубах. Многим кажется, что так и должно быть.

Когда идёшь вечером по улице мимо многоэтажных жилых домов, утыканных огоньками квартир, всегда думаешь: что за люди их населяют? У них есть мечты, заботы, свои представления о жизни. Часто они говорят на грубом и скудном языке, состоящем всего лишь из нескольких слов, и им бывает очень весело. Даже несмотря на пыль и песок. Я перестал им доверять.

«Сейчас, сейчас».

Тут надо цепляться руками и ногами, чтобы удержаться. Земли много, но места на ней мало. Мы поневоле жмёмся друг к другу. Это земля безоглядного отчаяния, попусту сложенных голов и временных мер, введённых на постоянной основе.

«Мы сделаем всё возможное».

Это была жизнь, которой я никогда не жил, которой я сторонился.

«Я сделал всё, что мог».

Сколько всего непонятного вокруг. Мы поднимаем глаза вверх – единственное спасительное движение. Мы хотим в беспримерной пустоте, замаскированной под голубое небо с облаками, словно заставка успешной киностудии, выпускающей надёжное успокоительное, – найти смысл. Не может же так быть, чтобы его не было? Мы находим себе точку, обладающую смыслом и разумом. Ей мы доверяем себя целиком и начинаем шептать сбивчивые заклинания.

Богоматерь всех спящих, богоматерь всех сущих, обманутых, пропавших, опоздавших, хромых, глухих, подслеповатых, болящих, скорбящих, гордых без меры, от дури дуреющих, от силы слабеющих, ленивых по глупости, умных по дурости...

Когда мне снилось, что я летаю, я был спокоен: значит, правильно живу. А потом это закончилось.

«Сейчас, сейчас». Я вытираю пот со лба отца, холодный пот. Сейчас нами займутся, уже занимаются. Вот подходят, говорят: «Сейчас вас повезут к лифту, поднимут на третий этаж». Коридоры длинные, гулкие.

Я ехал в маршрутке, дорога была долгая и утомительная, так что меня закономерно клонило в сон. И я видел в соседнем ряду ещё одну маршрутку или автобус, и в них людей, некоторые из них тоже засыпали. Вот клюнула вниз одна голова, другая. Всех утомляло это медленное движение, постоянные вынужденные остановки. Из-за ремонтных работ на дороге образовалась внушительная пробка. Одна девушка, которая сидела ко мне лицом, давно уже спала с мобильным телефоном в поднятой руке. Она собиралась в нём что-то увидеть, да так

и заснула, смешно вытянув губы, блуждая закрытыми глазами. Что ей снилось: новый смартфон или фотографии со старого?

Слева нас с мерным рокотом объехал автобус. Я успел увидеть, что его водитель тоже спит. Он сидел ровно и с закрытыми глазами держал руль, уверенно выполняя свою работу. Я оглянулся: уже спали все вокруг, спали и ехали – водители, пассажиры... Это зрелище завораживало и успокаивало. Я зевнул и тоже закрыл глаза. Сон охранял нас от жизни.

Век дан как день, дня мало, мать движения, мать покоя, богоматерь всех сущих, богоматерь всех спящих...

Чтобы совсем не заснуть, я начинал складывать цифры в номерных знаках машин, а потом ещё раз складывал цифры из получившейся суммы, и если в итоге выходило 5, то я был доволен и считал, что нахожусь на правильном пути и мне обязательно повезёт.

Снег искрился на солнце, когда из бывшей диспетчерской выносили бомжа. В мёртвых глазах парня, открытых в пустоту неба, была только усталость; в железном пруте, валявшемся неподалёку, – отчаяние.

Ну вот и лифт, наконец-то. Створки раскрываются с лязгом. Колёса задевают и упираются в порог. Соппротивление бесполезно – санитарка проталкивает кресло вперёд.

Мать движения, мать покоя.

«Сейчас, сейчас!»

ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ

В субботу Ольга Николаевна собиралась заняться стиркой. Надо было ещё сходить в магазин за продуктами. А вечером можно посмотреть фильм по телевизору – в газете она обвела кружком название и время. Ей хотелось комедийной мелодрамы, – жанр в программе совпадал с её желанием. День завершился спокойно и красиво: она удобно лежит на диване и следит на экране за тем, как влюблённая пара преодолевает всяческие недоразумения на пути к своему счастью.

Когда в дверь её квартиры позвонили, она насторожилась. Это было инстинктивное движение души, самая обычная реакция на движение извне. В каких-то случаях, повинувшись спасительной и ей самой до конца непонятной слабости, она не открывала дверь, – просто не могла сдвинуться с места. Стояла или сидела, застигнутая звонком врасплох, и ждала. Потом, словно очнувшись, подходила к двери и прислушивалась: если

она слышала звук удаляющихся шагов, ей становилось легче. Ей казалось, да что там казалось, она была уверена, что общается с миром не на равных условиях. Она видела вокруг себя людей, которые хотели бы её использовать по любому, самому незначительному поводу. Или я их сама так притягиваю, иной раз думала она, они замечают мою незащищённость, она бросается им в глаза.

То соседка из квартиры напротив, минуя ещё две, приходит именно к ней, чтобы узнать, показывает ли у неё телевизор. «Или это с антенной у меня что-то...» – говорит, а сама шарит сумасшедшими глазами по потолку и стенам, как будто где-то там у Ольги Николаевны спрятан телевизор. То другой сосед позвонит в дверь и спросит: «У вас свет горит?» И Ольга Николаевна ответит ему невпопад: «Не знаю». И он войдёт в коридор, не замечая её, внимательно оглядывая пол, словно там где-то должны скрываться лампочки и выключатели. Однажды вообще заявился сосед сверху и объяснил растерянной Ольге Николаевне, что в её туалете надо пробить дыру в стене для того, чтобы в его квартире снова полилась горячая вода из крана. Слышать ей всё это было дико, но приходили сведущие в этих вопросах лица, слесарь и сварщик, и подтверждали: да, вот тут стену надо долбить, а вот тут потом варить трубу. Всё нормально будет, хозяйюшка, чумазо улыбался слесарь, разом сделаем.

И что только с ней не делали! Только она никогда ни к кому не ходила, чтобы что-то выяснить. Если не было воды, смотрела телевизор. Если телевизор не показывал, читала книгу. Если не было света, безропотно ждала, когда дадут.

В дверь ещё раз позвонили, уже настойчивей, и оцепенение с Ольги Николаевны спало; она не сидела и не стояла, она шла открывать – безропотно ли, обречённо – разницы не было никакой.

Появление соседки снизу не вызвало у Ольги Николаевны удивления. Маша представлялась ей почти единственным человеком в подъезде, с которым она могла хоть как-то общаться. Лет на пять старше её, а значит около пятидесяти. Широкое и веснушчатое лицо, простоту которого подчёркивали и её формы; по ним, без риска впасть в ошибку, можно было догадаться, что у неё никогда не было талии. Все в подъезде звали её так: Маша Шумоватая. Голос у неё был очень крепкий; когда увлекалась в разговоре, едва на крик не переходила, – хотела в чём-то убедить. В общем, шуму от неё было много, но всё это

так, беззлобно. Она даже с подружками своими, сидевшими на лавочке, когда шла домой, начинала здороваться от соседнего подъезда – зычно и весело. Душевная, участливая, бойкая, справедливая. Летом (а сейчас стояла жаркая летняя пора), она ходила в широкой и белой соломенной шляпе, украшенной цветами, в белой же блузке, коротких желтоватых штанах и серых от пыли босоножках.

Ольга Николаевна её нисколько не боялась. Она только отодвинулась от её разогретого, домашнего лица, дышащего жаром неодолимой силы. Маша приняла её движение назад за приглашение войти, хотя могла бы спокойно прошагать в квартиру совсем без приглашения, не замечая хозяйки, что всегда и делала без всяких церемоний, – впрочем, прямодушно и не обидно.

– Ну вот, – начала Маша Шумоватая по обыкновению громко. – Ну что сидишь дома-то, а? Погода вон на дворе какая!

Вся однокомнатная квартира Ольги Николаевны сразу же заполнилась хотя и знакомым, но всё же чужим голосом, сдирающим старые обои со стен, – голосом, которому было явно тесно в этом скромном и одиноком пространстве. «Вот и перед ней в чём-то виновата, – подумала Ольга Николаевна. – Разве уже нельзя мне быть у себя дома?»

И вдруг вспомнила: про Светочку тут речь, наверное, про её, Маши Шумоватой, внучку, с которой Ольга Николаевна иной раз сидела или гуляла, – выручала по-свойски. Маше то на дачу, то ещё по каким-то надобностям с разъездами, а Ольга Николаевна почти всегда дома, одна. С трёхлетней Светочкой и веселее было. Выходили на детскую горку, когда погода, на качели. Маша внучку ей доверяла, а Ольга Николаевна была очень ответственной, к просьбе посидеть с ребёнком относилась, как к нелишней возможности прикоснуться к счастью, которого она была лишена. И соседям её чувства были вполне понятны, никаких шуточек или там подначек по этому поводу они не допускали, а если и хотели когда задеть Ольгу Николаевну, то упражнялись совершенно в другом, бытовом, обыденном.

Вот выбирается она из подъезда со Светочкой, чтобы лопаткой покопаться в песочнице, а на лавке сидит бабка с восьмого этажа в платке и в тёплой стёганой поддёвке, несмотря на жаркий день. Ей лет восемьдесят, или всё же больше; она от подъезда никуда отойти не может даже с палкой, ей воздухом подышать, а она зоркая, как сокол. Как только Ольга Николаевна проходит мимо неё, бабка вдруг говорит ей в спину: «У тебя

видать». Что видать? Где? Ольга Николаевна встревожено оборачивается, с немым вопросом в глазах, а та тычет ей пальцем на короткую юбку: «У тебя там сзади всё видать». Ольга Николаевна оправляет юбку, вертит головой, потом смиренно сидит на краю песочницы, боясь сделать лишнее движение, и неотступно думает, вспоминая, как бралась за край юбки, как опускала её: «Да что там видать?» Возвращалась домой, на всякий случай закрываясь ведёрком с лопаткой, поворачивалась перед зеркалом, проверяя отражение... «Вот ещё придумала... Ничего там не видать». Нет-нет, к таким мелочам Ольга Николаевна привыкла.

– Тут вот такая история, – продолжала Маша Шумоватая, но уже потише. – Ещё внука мне подкинули. Дочка младшая постаралась...

– Правда? – улыбнулась Ольга Николаевна и только сейчас заметила вышедшую из-за спины Маши Светочку, а ещё плетёную корзину в руке её бабушки увидела, накрытую одеялом.

– Вот тебе и правда, – хмыкнула Маша. – Нам со Светочкой надо уехать сейчас, так что тебе вот хотим мальчика нашего оставить. Пусть пока у тебя побудет.

– Надолго? – спросила Ольга Николаевна, и главное: – Да где же он?

– А вот он, – с готовностью ответила Маша и протянула корзину. Светочка отвернула одеяло и спряталась за бабушку.

В корзине лежала голова. Она заворочалась, задев погрешку. Потом зевнула, открыла глаза, посмотрела на Ольгу Николаевну и улыбнулась.

– Врачи говорят, у него всё нормально будет, – спокойно рассказывала Маша, – тело ещё разовьётся, и ноги вырастут... Вот думали братик будет Светочке, а она его боится...

Девочка, в подтверждении слов бабушки, продолжала прятаться за её спиной.

– Так что смотри...

– А я не могу, – неожиданно сказала Ольга Николаевна, до этой минуты молчавшая так крепко, что, казалось, уже и рта не раскроет.

– Это почему? – насторожилась Маша Шумоватая.

– У меня работа срочная. Мне тоже надо идти. У меня столько дел... – проговорила Ольга Николаевна в пустоту тонким и слабым голосом.

– Ну хватит тебе! – вдруг прикрикнула на неё Маша Шумоватая. – Нашла тоже работу... Ты мне панику тут не разводи!

Ольга Николаевна вздрогнула, ей хотелось заплакать от собственного бессилия; чтобы спасти себя, она спросила сквозь подступающие слёзы:

– А как назвали?

– Как назвали? – переспросила Маша. – Мы Кругляшом зовём.

Она склонилась над корзиной.

– Ну что, Кругляш, пойдём к тёте Оле?

Маша бережно взяла голову на руки и протянула Ольге Николаевне; та уже собралась её принять, позабыв о естественной брезгливости и отвращении, испытывая одно лишь чувство сострадания, но Кругляш вдруг спрыгнул с рук бабушки и побежал («Чем побежал? – успела подумать разом уставшая Ольга Николаевна. – Ногами, которых нет?») по полу. Вернее, он прошлёпал к двери, чтобы выскочить из квартиры в подъезд.

– Куда ты, Кругляш? – воскликнула Маша Шумоватая. – Шалун какой! Вот сейчас поймаю-поймаю!

Она притворно затопала ногами на одном месте. Из-за её спины выбежала Светочка; она ловко подхватила Кругляша на руки и прижала к своей груди.

– Любит его всё же, – заметила бабушка и улыбнулась.

Боже мой, расстроено подумала Ольга Николаевна, у неё такое горе, а она... И тут же она себя перебила, вдруг сообразив, – да нет, это у меня горе.

И она представила, как это будет выглядеть, когда она пойдёт с Кругляшом гулять. Как бабка, у которой всё видать, запричитает, когда Ольга Николаевна выйдет из подъезда, и ведь обязательно запричитает, хотя будет знать, что ребёнок Ольге Николаевне не принадлежит. Как чумазый хозяйюшка, если встретится ей на пути, что весьма вероятно, так как он по надобности постоянно отирается в их дворе, замрёт, увидев её беду, и всё про неё поймёт – до самой до ржавой трубы, которую сваривали в пробитой стене.

Ольга Николаевна снова заглянула в лицо Маши Шумоватой и вдруг поняла, что ничего не знает о её жизни.

СЧАСТЬЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ

Где-то в небе раздавался клёкот галок, похожий на плеск моря. Мне так и представилось, ещё сквозь сон, как плещется море о скалы или волны накатывают на берег; в этих звуках было что-то пронзительное и высокое, я открыл глаза и смотрел

в потолок, море и небо для меня совмещались в одно целое и далёкое, скорее всего недостижимое в этом году; проще и точнее мои чувства можно было назвать мечтой. Звуки проникали в эту комнату из другой комнаты, дверь туда была открыта, окно там тоже; я видел свежую утреннюю голубизну неба в закрытое окно, приглушённый шум проезжающих автомобилей по дороге ничуть не мешал плеску волн во дворе, с другой стороны дома, там, где поднимались тополя выше крыши, и небо имело более насыщенный оттенок, солнце ещё не доставало своей чрезмерной жизнерадостностью, оно посылало примерочные лучи, эти звуки нельзя было поймать руками, с таким же успехом можно было черпать воду решетом, но я никогда не видел этих галок, подходил к открытому окну, насколько мог вытягивал на себя взглядом границу неба в проёме и приближал только море, казалось, я находился у самого берега, и где-то рядом, повыше, в золотисто-голубом воздухе галки бесцеремонно плескались в его волнах.

Тишина меня никогда не обманывала. Когда-то давно я видел иностранный фильм, мне кажется, скандинавский, из которого помню только одну сцену: главный герой у себя дома, он чем-то занят в своей комнате, открывает ящик стола, сосредоточенно перебирает вещи, наверное, он что-то ищет, он занят каким-то делом, а позади него, в стороне, стоит катушечный магнитофон, бобины беззвучно крутятся, и всё это выглядит важным именно потому, что нет звука. Я не помню, о чём этот фильм, но эта сцена запомнилась, в ней, в этих без звука работающих катушках, в том, что зритель не слышит, какая музыка проигрывается на этом магнитофоне (а может быть, звучит чей-то голос?), выразилась некая суть современности, тянущейся уже много лет.

Базарный клёкот галок не утихал, волнение моря то усиливалось, то спадало. Есть мне пока что не хотелось; с некоторых пор я мог позавтракать через полтора часа после пробуждения; что-то меня останавливало, я словно готовился к правильному восприятию; наверное, мне до конца не верилось, что утро уже наступило и пришла пора действовать. Но я не раскачивался, чтобы начать действовать, я принимал всё, как есть. С вечера я захотел арбуз, первые уже появились в продаже, конечно, были сомнения, и я уже представлял себе, как буду его разрезать, а он, полосатый, спелый, будет хрумтеть, потрескивать, и как я буду уминать эти нарезанные скибки, обливаясь соком, захлёбываясь в созревшей цельности, как в море. Но в ночь употре-

блять арбуз, чтобы потом, как по расписанию, ходить в туалет? Только в обед – чтобы точнее оценить происходящее.

Был такой случай, тоже давно, примерно в те же бобиннокатушечные времена, я этого человека не знал, мне знакомый о нём рассказывал, но история вот такая: у одного товарища было сильно развито эстетическое чувство прекрасного, он хотел не просто жить, потому что некоторые не знают, чего хотят, а просто живут, как придётся, он хотел жить красиво, с непременным осознанием этой красоты и наглядным предметным результатом. У него была цель, окрашенная в белый цвет. Первым существенным приобретением на этом пути стал белый плащ, а если быть совсем уж точным, то плащ был белоснежным, он сильно выделялся на фоне отечественного белого цвета, он отливал нездешней избранностью.

На приобретение этого замечательного плаща ушло какое-то время, его поиск стоил усилий, но на этом эстетическое чувство не останавливалось, оно не было утолено сполна, требовалось его подкрепление и усиление; теперь под наличествующий плащ надо было подобрать машину, тоже белого цвета, точнее, белоснежного, такого именно цвета автомобилей среди отечественных не наблюдалось, так чтобы оттенок идеально совпадал с плащом, чтобы счастливый обладатель плаща мог с достоинством выйти из аутентичного средства передвижения, а потому автомобиль мог быть только иностранный, так что поиск недостающей детали костюма занял ещё больше времени. И ведь где-то он приобрёл этот редкий экземпляр, минул, может быть, год или два, или даже больше (плащ, естественно, не занасивался, висел дома, ждал), и всё совпало, устроилось для него самым счастливым образом, и он даже объявил друзьям, что приедет к ним в гости в воскресенье, чтобы они смогли убедиться в том, что он добился-таки своего, и оценили бы его упорство в достижении поставленной цели. Однако судьба распорядилась иначе, и за день до примечательной встречи хозяин белого на белом в самом точном приложении неожиданно умер; то ли переволновался, то ли мечта была осуществлена и дальше уже ничего не могло последовать, но он действительно умер, и эта история стала Историей, которую каждый, в зависимости от убеждений правой или левой руки, может толковать, как ему вздумается.

У меня никакой истории нет, у меня есть только чувства и обрывки ощущений, которые я бережно собираю и потом на досуге сравниваю. Настоящим мне представляется только то, что

уже когда-то было. Про чувство вины мне напоминать не надо, оно и так всегда со мной в той или иной степени, оно просто живёт в некоторых окружающих меня предметах. Вот круглые часы, что уже второй год, как мы переехали на новую квартиру, лежат сверху книжного стеллажа, хотя должны висеть на стене. Они тикают, показывают потолку время, в прежней квартире они находились на положенном месте, а тут мне словно что-то мешает взять гвоздик и молоток. Я приглядываюсь к новым условиям и не спешу ставить точку, до конца я ещё не въехал, а может быть, мне просто не хочется видеть, как стрелка движется по кругу, последний раз я радовался часам в четвёртом классе, отец подарил мне «Ракету», кожаный ремешок, обхвативший запястье, личное время, которое ни с кем не надо делить. Наверное, я глуповат, но хотелось бы думать, что на самом деле наивен; это примиряет меня с действительностью.

Когда я смотрю в окно на проносящиеся мимо моего дома машины, на это бесконечное, чуть стихающее к глубокой ночи движение, мне приходит в голову, что воздух насыщен миллионами невидимых частиц. Вся наша жизнь пронизана ими, тем, что мы не видим и не знаем, и, может быть, поэтому мы верим в чудо. Зимой для меня чудо наступало по выходным после трёх часов дня, когда на заснеженные сосны на противоположной стороне улицы падал солнечный свет, и как-то там на обнажённых стволах, в их тесной близости, зажигалось что-то такое, какая-то медь с бронзой и мягкая оранжевая кожа, произведённая чудесным образом из коры; всё оборачивалось настоящим прощанием, последним взглядом, посланием; в этих стоящих друг за дружку, среди прочих, трёх-четырёх соснах было сосредоточено всё самое главное на земле в эти минуты, и я был тому свидетелем. Летом же ничего подобного не происходило, – объекты наблюдения словно выпадали из фокуса, из парадного строя, из сказки.

Я выхожу в другую комнату. Галки возятся в небе, как на пляже, – делят лежаки, зонтики, удачный вид на море. Окажется, ночью был дождь. Во дворе спят лужи, это покой и смирение, наполненные до краёв, границы определены, но их нарушают, их будит колесо мусоровоза, гармония морщится, бежит рябью, волны откликаются на небо, – так они зевают. День куда-то растягивается; я возвращаюсь обратно, провожу рукой по книгам, которые скорее всего никогда не прочту, поправляю лампу на столе, всё же беру одну из них, раскрывают наугад и читаю насколько предложений, это придаёт утраченному времени хоть какой-то смысл, я нахожу оправдание.

Зеркало в ванной показывает мне лицо человека загадочного, чувственного и небритого. Большинство замечает во мне только небритость, отсюда продолжение: нелюдимость, сухость. Мне нет нужды кого-то в этом разубеждать. Все люди по-своему хорошие и все хороши. Жена меня тоже не знает, она часто склоняется к мнению большинства; загадочность определяет как желание скрыть недостатки, а чувственность – как того же свойства детскую игривость. Всё несерьёзно, всё близко к срыву договорённостей жить ладно в богатстве и в бедности. Когда любишь, не споришь. Я скромно, без азарта, умываюсь. Наверное, когда я мокрый, я нелюдимый. Полотенце мне возвращает сухость.

В любви нет никакой лёгкости, счастье ещё тяжелее. Мы хотели измерить наши отношения и мерили их деньгами, родителями, знакомыми, соседями, детьми, телепередачами, музыкой, книгами, фильмами – очень многим. А потом мы устали и остановились посередине неустойчивого равновесия – немного в сторону и не поздоровится обоим, – пришлось прижаться друг к другу, чтобы спастись. И теперь нам ничего не мешает. Мы не видим препятствий. Мы загадочно, чувственно улыбаемся, отменяя нелюдимость, и говорим только приятные слова. Я думаю, что так будет всегда.

Пора на кухню. Я открываю холодильник, белое на белом в самом ослепительном приближении, галки и здесь слышны, им не надоело купаться в воздушном океане, на микроволновке стоят электронные часы, они спешат, за два-три дня набегаёт минута, я достаю колбасу и делаю себе бутерброд, ставлю чайник, это для заправки, для начала, мне не хватает только катушечного магнитофона, чтобы эти колеса громоздкого музыкального парохода медленно и беззвучно вращались, выбираясь на верную дорогу, да, ещё полосатый арбуз с сухим хвостиком, это на обед, сосны на зиму, окна на улицу, а не во двор.

Я радуюсь самым простым вещам, моё счастье ещё спит. Бутерброд с чаем (две ложки сахара, без лимона), тополь за окном почти на расстоянии вытянутой руки, длинный, заканчивающийся где-то вверху маяком, привлекающим галок. Холодильник украшен декоративными магнитами, он ими облеплен как ракушками. Это сувениры, которые мне дарят друзья. Они привозят их из своих путешествий, виды Рима, Парижа, Венеции, Мюнхена, Барселоны, Бангкока, всех городов, где я никогда не был. Коллекция постоянно пополняется, о нас заботятся. Нам на дом доставляют свежие впечатления; приходят гости,

мы садимся за стол и слушаем их рассказы. Но сначала я прикрепляю к холодильнику новый магнит. Я коллекционер чужих путешествий.

Я сажусь у окна и начинаю есть. И вот я думаю, как мне повезло в жизни, что я вот так всё вижу и чувствую; к тому же у меня есть внушительная коллекция магнитов, на днях добавились Хельсинки и Стокгольм, скоро места свободного не останется и некуда будет прилепить очередной сувенир, так что, наверное, придётся покупать ещё один холодильник для того, чтобы коллекция могла расширяться.

Я готовлю завтрак, варю кофе. Галки приветствуют солнце, небо расширяется и наполняется новыми звуками пробуждения. Часы сегодня же будут висеть на стене. На календаре суббота, а значит, свободного времени больше, чем всегда. Я забыл сделать зарядку, у меня растёт живот. Около полуночи был звонок по телефону; кто-то значительно молчал в трубку. Я люблю тишину и звуки природы. Не забыть купить пять литров чистой питьевой воды. У какой-то машины во дворе включилась сигнализация. Нет слов, чтобы описать мои ощущения, – мне просто хорошо, и всё же я не знаю, почему. А апельсиновый сок? Вчера по радио рассказали, что однажды композитор Шостакович проиграл в карты концертный рояль. В ящике стола я нашёл нашу с женой фотографию двадцатилетней давности, – я там такой смешной! Мне вдруг пришло в голову, что ничего не изменилось, а только продолжается. Продолжалось и тогда, но я ничего не знал об этом. Где-то я прочитал, что зубы надо чистить не перед завтраком, а после, и не сразу после еды, а подождав какое-то время.

Ну вот, кофе готов, пойду будить свою любимую; этот момент особенно важен, она проснётся и начнётся-покатится, закрутится-завертится настоящая жизнь, которой никогда не будет конца.